

A close-up portrait of a young boy with curly, light brown hair and large, expressive brown eyes. He is wearing a thick, brown wool coat with a textured collar and a blue and grey patterned scarf. He is holding a violin, with the instrument's body and f-hole visible in the lower right corner. The background is dark and out of focus.

Максим Козлов

# Первая скрипка

Максим Козлов  
**Первая скрипка**

«Автор»

2026

## **Козлов М.**

Первая скрипка / М. Козлов — «Автор», 2026

Тимофей — мальчик с аутизмом. Он не выносит громких звуков, не смотрит в глаза, не понимает эмоций. В школе его травят, учителя считают необучаемым, родители на грани развода. Единственное спасение — математика, где всё подчиняется логике. Однажды он слышит, как старый сосед играет на скрипке, и открывает для себя мир, в котором музыка говорит точным языком цифр. «Ты не сможешь чувствовать музыку», — говорит ему брюзгливый старик. «Я и не хочу чувствовать. Я хочу понимать», — отвечает Тимофей. Так начинается путь — от гамм в заброшенной котельной до сцены Кремля, от одиночества к ансамблю таких же «непонятых». Роман о том, что «нормальность» — не единственный путь, а душа — это не чувство, а понимание.

© Козлов М., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Децибелы	5
Канифоль и пыль	11
Белый шум	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Максим Козлов

## Первая скрипка

### Децибелы

Школа пахла мелом и хлоркой. И еще страхом. Страх пахнет кислым молоком и мокрой бумагой. Тимофей знал этот запах. Он знал его с первого класса. Сейчас был шестой. Ничего не изменилось.

Звонок.

Это не было похоже на звук. Это была стена. Она падала на него сверху. Всегда внезапно. Даже когда ждешь. Особенно когда ждешь. Он зажимал уши ладонями каждый раз. И каждый раз это не помогало. Звук проходил сквозь пальцы. Сквозь кости. Он оставался внутри головы и вибрировал там долго. Очень долго. Пока не начинался следующий шум.

Коридор был худшим местом в мире. Хуже столовой. В столовой хотя бы можно сесть в углу и смотреть в тарелку с серой кашей. Каша была безопасной. Она не двигалась и не орала. А здесь все двигалось и все орало. Дети бежали. Они всегда бежали, хотя бежать запрещали. Их было много. Толпа — это организм. Он дышит и толкается локтями. Тимофей ненавидел, когда трогают. Любое прикосновение обжигало. Будто к голому нерву приложили лед.

Он шел вдоль стены. Стена была холодной. Это было хорошо. Можно было считать шаги. Раз-два. Раз-два. Раз-два. Сбиваться было нельзя. Если собьешься, придется начинать с начала. От самого кабинета математики.

Перед ним выросли трое.

Их было трое. Всегда трое. Один высокий, один толстый, один просто злой. Высокого звали Данил. Он был главным. Он никогда не кричал. Он говорил тихо. От этого было еще страшнее.

— Эй, Тимон. Чего уши зажал? Музыка слушаешь?

Тимофей не отвечал. Он смотрел в пол. Плитка была серая в крапинку. Сто сорок две крапинки на той, что у левой ноги. Он уже посчитал их утром. Но можно пересчитать. Потому что отвечать нельзя. Отвечать — ошибка. Молчать — тоже ошибка. Молчать — значит бросать вызов. Но говорить он не мог. Слова застревали. Они комкались где-то в горле, превращались в сухую кашу.

— Смотри на меня, когда с тобой разговаривают, придурок.

Данил взял его за подбородок. Пальцы были липкие и горячие. Тимофей дернул головой. Не потому что хотел сопротивляться. Просто прикосновение было невыносимым. Как будто кожу содрали и посыпали солью.

— Ах ты псих.

Удар был в плечо. Не сильно. Унизительно. Толстый засмеялся. Злой просто сплюнул на пол. Тимофей смотрел на плевок. Он растекался по серой плитке. Менял форму. Это было завораживающе. Лучше, чем лица. Лица — это хаос. Пятно на полу — это система.

— Он тупой, не видишь? Не трогай его, еще заразишься.

Они ушли. Смех остался висеть в воздухе. Он был острым и рваным. Тимофей знал, что он не тупой. Он знал это точно. Он мог в уме перемножить четырехзначные числа. Он видел простые числа как светящиеся точки в темноте. Они были красивые. Но это никого не интересовало. В школе нужно было читать стихи с выражением и смотреть в глаза учительнице. Учительницу звали Алла Петровна. Она носила очки с толстыми стеклами. За ними ее глаза казались огромными и рыбьими.

Однажды она вызвала его к доске. Нужно было решить задачу. Он решил ее за секунду. Молча написал ответ.

— Объясни, — сказала она. — Как ты получил этот ответ? Расскажи ход решения.

Он не мог. Ход был очевиден. Как объяснить, почему трава зеленая? Просто зеленая. Просто ответ был правильным. Он стоял и молчал. Класс начал хихикать. Мел крошился в пальцах. Он крошил его специально, чтобы успокоиться. Белая пыль на черном поле. Это было как звезды наоборот.

— Ну что, Тимофей, опять витаешь в облаках? — Алла Петровна вздохнула. — Садись. Два. И дневник на стол.

Двойки его не волновали. Цифры в журнале — это просто условность. Но мама расстраивалась. Мама — это другое. Мамино лицо, когда она видела красную пасту в дневнике, становилось серым. Как плитка в коридоре. И он чувствовал вину. Это было сложное чувство. Оно кололось где-то под ребрами.

Когда кончились уроки, он вышел во двор. В школьном дворе рос старый тополь. Кора у тополя была морщинистая и надежная. К ней можно было прислониться лбом и стоять, пока не приедет автобус. Автобус — это тоже пытка. Но до нее еще нужно было дожить.

Домой он попал только в три. Открывал дверь своим ключом. В прихожей было темно. Пахло вчерашним борщом и папиными сигаретами. Запахи смешивались и создавали карту квартиры. Тимофей мог с закрытыми глазами сказать, кто где был и что делал.

Родители были на кухне. Дверь была закрыта, но они говорили громко. Они всегда говорили громко, когда дело касалось его.

— Я больше не могу, Женя. Он меня изводит, — голос у мамы был надтреснутый. — Сегодня опять звонила классная. Он ударил одноклассника.

— Может, не он первый начал? — папин бас был глухим.

— Да какая разница! Он не такой, как все. Он сидит на уроках, уткнувшись в тетрадь. Он не играет с детьми. Он вздрагивает, когда к нему прикасаются. Я пытаюсь его обнять, а он каменеет. Он как робот. Машина. Ты понимаешь? Я живу с машиной.

Тимофей стоял в темном коридоре. Он не плакал. Он вообще не умел плакать так, как плачут другие. Слезы просто текли. Горячие и бессмысленные. Машина не может плакать, думал он. Значит, я не машина. Но вслух он этого не сказал.

Папа вышел из кухни первым. Увидел его в коридоре. Остановился. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой. Взял куртку и ушел. Хлопнула дверь. Этот звук был еще одним гвоздем. Их было много за день.

Мама не вышла. Она сидела на кухне и курила в открытую форточку. Дым слоился, как туман над рекой. Тимофей зашел к себе в комнату. Это была его территория. Здесь все лежало на своих местах. Книги — по росту. Карандаши — от черного к белому, через все оттенки серого. Диски с программами — в алфавитном порядке. Порядок спасал. Внешний мир был хаосом, но эту комнату он контролировал полностью.

Он сел на пол и включил ноутбук. Экран засветился мягким синим светом. Он открыл программу для моделирования фракталов. Нажал на кнопку. На экране начал распускаться бесконечный цветок. Каждый лепесток был точной копией целого. Гармония, построенная на формулах. Это было красиво. Настоящая красота — это когда нет ничего лишнего.

Он уснул прямо на полу, положив голову на сложенные руки.

Его разбудил звук.

Была уже ночь. За окном горел фонарь, и комната была оранжево-серая. Сначала Тимофей не понял, что это. Это не было шумом. Это не было звонком. Это вообще не походило на звуки, которые он знал. Он подошел к стене. Приложил ладонь к обоям. Стена была холодной и чуть-чуть вибрировала. Звук шел от соседей.

За стеной играла скрипка.

Она не кричала. Она не давила на уши. Она просто текла. Как вода. Как электрический ток по проводам. Тимофей замер. У него было странное ощущение в груди. Оно не было неприятным. Оно было... правильным. Он сел у стены и обхватил колени руками. Сидел и слушал.

Музыка имела структуру. Он слышал ее. Нота шла за нотой. Они цеплялись друг за друга как вагоны поезда. Интервалы были точными. Можно было вычислить частоту каждой ноты. Можно было представить их в виде синусоид на графике. Высокие частоты сжимались в тугие спирали. Низкие растекались медленными волнами. Это была математика. Но не сухая, как в учебнике. Живая. Движущаяся.

Человек за стеной играл долго. Он останавливался. Повторял одно и то же место по три, по четыре раза. Искал что-то. Шлифовал. Тимофею это было понятно. Поиск точности. Только точность имеет значение.

Мама уже спала. Или делала вид, что спит. Ему было все равно. Впервые за долгое время ему было все равно, что чувствует мама. Он нашел что-то важное. Он пока не знал, что с этим делать. Но звук заполнил пустоту, о которой он раньше даже не подозревал.

Прошло три дня. Три дня он возвращался из школы, делал вид, что ест суп, садился в своей комнате и ждал. Сосед начинал играть в девять вечера. Всегда в девять. Плюс-минус две минуты. Это было предсказуемо. Тимофей уже выучил эту мелодию. Он не знал, как она называется. Он назвал ее «Объект А». Он мог бы воспроизвести ее ноты, если бы умел. Но он не умел.

На четвертый день он решился. Это было сложно. Любое социальное действие было сложным. Нужно было постучать в дверь к незнакомому человеку. Нужно было посмотреть ему в глаза. Нужно было объяснить, чего ты хочешь. Но желание было сильнее страха. Желание — это топливо. Страх — это просто шум.

После школы он не пошел домой. Он поднялся на пятый этаж. Квартира пятьдесят два. Дверь была старая, обитая коричневым дерматином. Под дерматином угадывался поролон. Кнопки, которыми он был прибит, образовывали ромбовидный узор.

Он постучал. Дверь открылась не сразу. Загремел замок. Потом еще один. Потом цепочка.

На пороге стоял старик. Очень старый. Лет семьдесят, может, больше. У него были седые волосы, торчащие в разные стороны, как проволока. Усы. Толстые очки в тяжелой оправе. И глаза. Глаза были светлые и очень острые. Они как будто протыкали насквозь.

— Чего тебе? — голос был хриплый и недовольный.

Сосед был в старом свитере с вытянутыми рукавами. Он держал в руке смычок. Значит, он только что играл. Это было удачей. Или провалом. Тимофей не знал.

— Я... — начал Тимофей. Слова застряли. Он заставил себя смотреть на переносицу старика. Не в глаза. В глаза нельзя. В переносицу можно. — Я слушал.

— Что ты делал?

— Слушал, — повторил Тимофей. — Как вы играете. Через стену. Я живу через стену. В сорок девятой.

— А, это ты тот псих, — сказал старик без всякого выражения. Просто констатировал факт. — Мне говорили. Ты не разговариваешь. А сейчас разговариваешь.

— Я не псих. У меня синдром Аспергера. Это спектр аутизма, — Тимофей выучил эту фразу наизусть. Она срабатывала с врачами. С детьми не срабатывала.

— Мне плевать, как это называется, — старик сплюнул на лестничную клетку. — Ты не орешь под окнами, и ладно. Чего пришел?

— Научите меня.

Повисла пауза. Старик перестал жевать и замер. Он смотрел на Тимофея как на говорящий стул.

— Чего? — переспросил он.

— Играть. На скрипке. Я хочу понимать, как это устроено.

Старик хмыкнул. Потом засмеялся. Смех был похож на кашель старого мотора.

— Парень, ты иди домой. Скрипка — это не для таких, как ты.

— Для каких — таких?

— Для чокнутых, которым слова вовремя не скажут, — он начал закрывать дверь. — Для людей это. Для тех, у кого есть душа. А у тебя, говорят, её нет. Ты же даже не плачешь. Как ты будешь играть? Ты не сможешь чувствовать музыку. Музыка нужно чувствовать. Понимаешь, нет?

Тимофей выставил ногу. Дверь стукнулась о кроссовок.

— Я и не хочу чувствовать.

Старик перестал давить на дверь. Прищурился:

— Чего?

— Я хочу ее понимать. Чувства — это... ненадежно. Мама плачет, а потом смеется. Это нелогично. А ноты — они точные. Частота ля первой октавы — четыреста сорок герц. Это факт. Он не меняется от настроения. Я хочу понять, как из фактов получается... — он запнулся, подбирая слово. — Получается это.

Он замолчал. Сказал так много, что устал говорить на месяц вперед.

Старик смотрел на него долго. Очень долго. Тимофей переминался с ноги на ногу. Взорвать бы этот дверной проем, думал он. Или провалиться сквозь пол.

— Четыреста сорок, говоришь? — наконец произнес старик. — А ты странный. Обычно приходят мамы с нотами, просят: «Научите Петеньку музыку любить». А тут заявляется... это... и говорит про герцы.

Он отступил в глубь квартиры:

— Заходи. Только руки вымой. И ноги вытри. Полы мыты.

Тимофей вошел.

В коридоре пахло канифолью, старой мебелью и немного лекарствами. На вешалке висело пальто. На полу лежала стопка нот. На стенах ничего не было. Только старый афишный листок, приклеенный скотчем к обоям. На нем было написано: «Лауреат всесоюзного конкурса скрипачей Сорин Илья Григорьевич».

Они прошли в комнату. Это была не комната. Это была мастерская. Везде стояли скрипки. Одни на полках, другие в открытых футлярах на столе. Третьи висели на гвоздях. Пахло деревом и лаком. В углу стояла открытая банка с какой-то коричневой жидкостью. На столе лежали струны. Тимофей сразу начал считать их. Двенадцать струн. Три сломаны. Четыре новые, в бумажных конвертах. Остальные старые.

— Руки покажи, — скомандовал старик.

Тимофей протянул руки. Старик взял их и осмотрел. Пальцы у Тимофея были длинные и бледные. Ногти аккуратно подстрижены — он делал это каждый день, чтобы под ногтями ничего не было.

— Мизинец коротковат. Но это ерунда. Ладонь узкая. Тоже не смертельно. Пальцы длинные — хорошо.

Он отпустил его руки, подошел к столу и взял одну из скрипок.

— Держи.

Тимофей взял инструмент. Он был легче, чем он думал. Дерево было теплым. Гриф лежал в ладони, как будто всегда там был.

— Не сжимай так сильно, это тебе не топор, — старик поправил его пальцы. — Смычок вот так. Плечо расслабь. Локоть ниже. Еще ниже. Ты не робот, чтобы деревянно стоять.

Тимофей старался. Тело не слушалось. Но это была понятная задача. Руку сюда. Смычок так. Попробовать извлечь звук.

Он провел смычком по струне. Скрипка взвизгнула. Дико, пронзительно. Этот звук ударил по нервам. Но Тимофей не бросил скрипку. Он понял ошибку. Плоскость смычка не перпендикулярна струне. Угол атаки неправильный. Он попробовал еще раз. Звук был чище.

— Учись, — проворчал Илья Григорьевич. — Но запомни. Я никого не учу тридцать лет. Я тебя выгоню через день, если будешь тупить. Мне плевать на твои диагнозы. Тупить нельзя. Понял?

— Да.

— Не понял. Но это не важно. Важно вот что, — старик поднял смычок и указал им на Тимофея. — В музыке есть только одна валюта. Труд. Ты будешь играть гаммы, пока кровь из пальцев не пойдет. Если ты думаешь, что родился гением и все само получится, то выметайся сейчас. Гениев не бывает. Бывают только те, кто пашет.

— Я могу пахать, — сказал Тимофей. — Я не умею делать то, что вы говорили. Играть с душой. Я умею делать только так: повторять, пока не получится.

— Может, это и к лучшему, — пробормотал старик. — Потому что то, что называют душой, часто просто визг и дешевые слезы. Давай.

Он поставил перед Тимофеем попиптр. Положил ноты. Это были простые гаммы. До мажор. Тимофей смотрел на нотный стан. Для него это был код. Шифр, который нужно взломать. Пять линейек. Овалы нот. Палочки штилей. Все это имело смысл. Оно было логично.

Через час его пальцы на левой руке покраснели. Кончики горели. Но он не останавливался. Старик сидел в углу на старом стуле и пил чай из железной кружки. Он ничего не говорил. Только иногда кричал.

Тимофей играл гамму. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Соседи снизу постучали по батарее. Ему было наплевать. Существовала только скрипка. Код. Пальцы. И тишина между нотами, которая была так же важна, как и сами ноты.

— Хватит, — сказал старик, когда за окном совсем стемнело. — Придешь завтра. В четыре. Опоздаешь хоть на минуту — не пущу.

Тимофей аккуратно положил скрипку в футляр. Ту, что дал ему старик, учебную. Он закрыл замки. Это были хорошие замки. Металлические. Щелкали с приятной точностью.

— Спасибо, — сказал он, глядя в пол.

— Не за что пока. Иди. И смотри чтобы, не молчи, когда тебя бьют.

— Это не помогает, — сказал Тимофей.

— Знаю, — сказал старик. — Но лучше дать в морду и проиграть, чем стоять и терпеть. Это тоже математика. Понял?

Тимофей ничего не ответил. Он вышел на лестничную клетку. Дверь за ним закрылась. Он стоял в темноте и сжимал в руках футляр. Он не дал в морду. Он получил скрипку. Это было лучше, чем драка. Намного лучше.

Он не пошел домой. Он поднялся на последний этаж, на чердак. Дверь была открыта. Воняло голубями и пылью. Сквозь слуховое окно падал лунный свет. Он сел на ящик и открыл футляр. В темноте скрипка была не коричневой, а черной. Как рояль. Он не играл. Он просто держал ее в руках.

Он вдруг вспомнил маму. Как она обнимала его в детстве. Тогда это не обжигало. Почему-то. Может быть, потому что она была частью системы. Частью него. А потом система сломалась.

Он заиграл в уме «Объект А». Просто прокрутил ноты в голове. Закрыл глаза. Мир сузился до размеров деки.

Завтра он придет снова. Завтра он снова будет пилить гаммы. Сегодня он чувствовал что-то, чему не было названия. Если бы его спросили, он бы сказал: это похоже на решение очень сложного уравнения. Когда решение найдено. Когда все сошлось. Так чувствуют радость. Наверное.

Он просидел на чердаке до одиннадцати. Потом спустился. Дома было тихо. Родители спали в разных комнатах. Он это знал. Он слышал их дыхание через стены. Два разных ритма. Несинхронизированных.

Он положил футляр под кровать. Лег, не раздеваясь. Смотрел в потолок. Там была трещина. Она шла от люстры к окну. Как траектория полета. Как линия мелодии.

Перед сном он, как всегда, составил план на завтра. В нем появился новый пункт. Не уроки. Не школа. Пункт номер один: скрипка. Остальное не имеет значения. Остальное — это шум.

В голове звучала нота «ля». Четыреста сорок герц. Идеальная. Чистая. Она заглушала все остальное. Даже голос Данила. Даже звонок с урока. Даже мамин плач, который он слышал сквозь сон.

Только нота.

## Канифоль и пыль

Сентябрь кончился и пошли дожди. Тимофей знал это по звуку. Капли били по жестяному отливу за окном с частотой примерно три удара в секунду. Иногда ветер менял ритм. Тогда капли начинали бить чаще. Это было похоже на смену музыкального размера. С четырех четвертей на шесть восьмых. Он думал об этом теперь постоянно. Везде была музыка. Или математика. Для него это было одно и то же.

Он приходил к Илье Григорьевичу каждый день. В четыре. Без опозданий. Один раз он пришел в три пятьдесят восемь. Стоял под дверью и смотрел на стрелки своих часов. Две минуты на площадке. Воняло кошками и жареным луком. Соседи снизу опять ссорились. Но это было неважно. Важно было войти ровно в четыре. Он вошел ровно в четыре.

Старик был невыносим.

— Смычок зажимаешь, как дубину. Пальцы расслабь. Я сказал расслабь, а не разожми совсем, идиот. Какой у тебя диагноз? Аспергер? Ты просто глухой к указаниям.

Тимофей делал, как говорили. Он не обижался. Он вообще не понимал, что такое обида. Это было просто нелогично. Если он делал неправильно, ему говорили. Если он делал правильно, ему не говорили ничего. Это была система. Прозрачная и понятая. В школе никто не объяснял правил. Там были скрытые правила. Тайные коды, которые он не мог расшифровать. Почему нужно улыбаться, когда говоришь «здравствуйте». Почему нельзя говорить, что у учительницы некрасивое платье, если оно действительно некрасивое. Почему все смеялись над его словами, когда он просто называл факты.

Здесь было проще. Ты неправильно держишь локоть. Исправь. Струна звучит грязно. Дожми палец. Здесь нет двойного дна. Только физика и акустика.

Прошло две недели. Пальцы на левой руке покрылись твердой желтой кожей. Подушечки болели, но это была хорошая боль. Правильная. Как после долгой пробежки. Как будто тело говорило: ты работаешь.

Однажды Илья Григорьевич остановил его посреди гаммы.

— Хватит пилить. Ты уже не фальшивишь. Попробуем что-то живое.

Он порывлся в кипе нот на рояле. Рояль был старый, марки «Красный Октябрь», расстроенный так, что даже Тимофею было больно это слышать. Старик никогда на нем не играл. Он был завален нотами, газетами и пустыми пачками от «Беломора».

— Вот. Бах. Прелюдия номер один до мажор из первого тома ХТК. Знаешь, что это?

— Хорошо темперированный клавир, — автоматически сказал Тимофей. — Сорок восемь прелюдий и фуг. Бах написал их для обучения. Каждая тональность.

— Энциклопедия, блин, — старик сплюнул в жестяную банку. — Не надо мне рассказывать, что это. Я спрашиваю, чувствуешь ли ты что-нибудь, когда слышишь это.

Тимофей закрыл глаза. Он не для того закрыл глаза, чтобы прислушаться к чувствам. Он закрыл глаза, чтобы представить нотный стан. Он уже видел эти ноты раньше. В интернете.

— Это арпеджио, — сказал он. — Разложенное трезвучие. До-ми-соль-до-ми-соль. И так далее.

— Да, — старик пристально смотрел на него. — Но почему люди плачут, когда слушают это? Три ноты. В разном порядке. Почему?

Тимофей молчал. Он не знал ответа. Он знал факты. Факты не объясняли слез. Слезы вообще были странной вещью. Вода из глаз. Соленая. Зачем?

— Ладно, — Илья Григорьевич махнул рукой. — Играй как играешь. Может, и получится что. Твоя эта... точность.

Тимофей начал играть. Он играл ноту за нотой. Он не думал о выражении. Он думал о том, чтобы переход между нотами был чистым. Чтобы смычок не скрипел. Чтобы палец попадал точно в центр лада. Он считал про себя длительности. Раз-и. Два-и. Три-и. Четыре-и.

Когда он закончил, старик сидел с закрытыми глазами. Он долго не открывал их. Тимофей стоял, опустив скрипку. Он не знал, хорошо это или плохо. Молчание было загадкой. В школе молчание обычно означало плохо. Но здесь молчание могло означать все что угодно.

— Убери скрипку, — сказал Илья Григорьевич глухо.

— Я плохо сыграл?

— Я сказал, убери инструмент, — повторил старик. В голосе появилась сталь. — На сегодня всё. Иди домой.

Тимофей аккуратно убрал скрипку в футляр. Застегнул замки. Вытер смычок тряпочкой. Все это он делал медленно и тщательно. Ритуал завершения. Когда он уже был в дверях, старик заговорил снова. Он смотрел в окно на серый дождь.

— Ты играешь как машина. Идеально. И это чудовищно. У меня от твоей игры мурашки по коже. Не от красоты. От ужаса. Ты вынимаешь из Баха всё мясо и оставляешь голый скелет. Но в этом скелете что-то есть. Что-то такое... Ты сам-то слышишь?

— Я слышу ноты, — сказал Тимофей.

— В том-то и дело. Ты слышишь только ноты. А музыка — это то, что между нотами. Ладно, иди. Завтра продолжим.

Тимофей вышел на лестницу. Что значит «между нотами»? Между нотами ничего нет. Тишина. Пауза. Он попробовал думать об этом всю дорогу домой. Дома была мама. Она сидела на кухне и смотрела в одну точку. Перед ней стояла чашка с остывшим чаем.

— Есть будешь? — спросила она, не оборачиваясь.

— Я не голоден.

— Ты никогда не голоден. Ты вообще что-нибудь чувствуешь, Тима? — она повернулась. Глаза были красные. — Я тут сижу, переживаю. Твой отец уже неделю ночует у своей матери. А ты как будто в параллельном мире.

— Папа уехал к бабушке, — повторил Тимофей. — Я понял.

— Да ничего ты не понял! — мама ударила ладонью по столу. Чашка подпрыгнула. Чай пролился. — Ты только свои цифры видишь. Ты хоть раз меня обнял просто так? Хоть раз сказал «мама, я тебя люблю»?

Он молчал. Он не знал, что сказать. Он не понимал, зачем говорить то, что и так очевидно. Мама — это мама. Это функция. Он не хотел ее обидеть. Но слова не шли. Они застре-вали в горле, как рыбы кости.

Мать заплакала. Он стоял и смотрел. Он знал, что надо подойти и обнять. Он читал об этом в книжке по социальному взаимодействию. Физический контакт в момент стресса. Но он не мог. Тело деревенело. Ноги прирастали к полу. Он стоял и смотрел, как она плачет, и ненавидел себя за то, что ничего не может сделать. Нет. Не ненавидел. Ненависть — это эмоция. Он просто фиксировал ошибку в системе. Сбой. И не мог его исправить.

— Ладно, — мама вытерла слезы. — Иди к себе.

Он ушел в комнату. Закрыл дверь. Сел на кровать. В голове звенела пустота. Он достал из-под кровати футляр. Открыл. Посмотрел на скрипку. Она была молчаливая и прекрасная. Дерево, лак, струны. Никаких слёз. Никаких истерик. Она просто ждала, пока он начнет играть.

Он не стал играть. Соседи уже спали. Он просто положил руку на деку и слушал дождь. Дождь был как музыка. В нем не было смысла, но была структура. Этого хватало.

На следующий день в школе случилось то, что должно было случиться.

Была большая перемена. Тимофей сидел в столовой и смотрел в тарелку с макаронами. Макароны были скользкие и холодные. Он не любил скользкую еду. Он любил сухую. Хлеб. Крекеры. Макароны были проблемой. Но есть хотелось.

Подошел Данил со своей свитой. Толстый и Злой. Они сели напротив. Данил подвинул к себе его поднос.

— Чего не ешь, Тимон? Брезгуешь? Мамка плохо готовит? Ах да, у тебя же мамка — дура. Как и ты.

Тимофей смотрел на поднос. На нем была трещина в эмали. Похожа на дельту реки.

— Ты че, тухлой, не слышишь?

Злой толкнул его в плечо. Прикосновение обожгло. Тимофей дернулся.

— О, смотри, живой!

Данил взял с подноса кусок хлеба и начал катать из него шарик. Потом бросил в Тимофея. Шарик попал в грудь и отскочил на пол.

— Собаке бросаю, а она не ловит. Фу, плохая собака.

Они заржали. Тимофей чувствовал, как внутри поднимается что-то горячее. Это было новое ощущение. Раньше внутри была только пустота и холод. А сейчас что-то жгло. Как лава. Как расплавленный металл.

— Отдайте поднос, — сказал он тихо.

— О, он заговорил! — Данил взял макаронину и кинул в него. Она прилипла к свитеру. — Ой, прости. Я случайно. Правда случайно. Ты же меня простишь?

Он встал, обошел стол и сел рядом с Тимофеем. Обнял его за плечи. Прикосновение было липким и тяжелым. Тимофей сжался. Лава внутри поднималась все выше.

— Смотрите, пацаны, мы с Тимоном друзья. Да, Тимон? Ты мой друг? Дружба — это когда делятся. Поделишься со мной?

Он сжал плечо сильнее. Было больно. Горячо. Невыносимо.

Тимофей не помнил, как это произошло. Он не планировал. Не просчитывал траекторию. Его тело сработало само. Он схватил пластмассовый поднос и с размаху ударил Данила по голове. Звук был глухой. Как будто уронили арбуз. Поднос треснул. Макароны полетели в разные стороны.

Данил отшатнулся. Из носа у него потекла кровь. Красные капли падали на серую плитку. Тимофей смотрел на них. Это было похоже на ноты. Круглые красные ноты на сером нотном стане.

Начался крик. Дежурная учительница. Завуч. Вызов родителей. Тимофей сидел в кабинете директора и смотрел на графин с водой. В графине плавали пузырьки. Они медленно поднимались вверх. Он считал их. Пять. Шесть. Семь.

Мама пришла через час. Она была бледная. Директор что-то говорил про учет в полиции, про отклонения, про перевод в специализированную школу. Мама кивала. У нее дрожали губы. Тимофей смотрел на пузырьки.

Их отпустили домой. На три дня. Потом комиссия.

Они шли домой пешком. Мама молчала. Он тоже молчал. Дождь кончился. На асфальте блестели лужи. В них отражались фонари. Перевернутые желтые пятна.

Дома мама села на диван и устала в стену.

— Меня вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних. Ты понимаешь, что ты наделал? Ты мог его убить.

— Я не мог его убить, — сказал Тимофей. — Поднос пластмассовый. Кинетическая энергия удара была недостаточна для причинения серьезной травмы. Я рассчитал.

— Ты рассчитал? — мама подняла голову. — Ты рассчитал? Ты псих, Тима. Ты настоящий псих. Ты меня в могилу сведешь.

Она заплакала опять. Тимофей стоял посреди комнаты. Он чувствовал пустоту. Лава внутри остыла и превратилась в камень. Тяжелый и черный.

— Я пойду, — сказал он.

— Куда?

— К соседу. На музыку.

— Какая, к черту, музыка?! — закричала мама. — Ты чуть не убил человека, а думаешь о своей дурацкой скрипке?!

— Там тихо, — сказал Тимофей. — Там не кричат.

Он взял футляр и вышел из дома. Было еще рано. Только шесть вечера. Он поднялся на пятый этаж и постучал. Дверь открылась не сразу. Илья Григорьевич был в пижаме. Вид у него был заспанный и сердитый.

— Ты чего приперся? У тебя урок в четыре.

— Мне нужно поиграть, — сказал Тимофей. — Сейчас. Пожалуйста.

Он не сказал про поднос. Про Данила. Про кровь на плитке. Но старик, видимо, что-то понял по его лицу. Или просто ему было всё равно. Он отступил.

— Заходи. Только тихо. У меня давление.

Тимофей вошел. В комнате было темно. Горел только торшер в углу. Пахло пылью и табаком. И канифолью. Канифоль — это была смола. Ей натирали смычок, чтобы он цеплялся за струны. Запах был резкий и чистый. Тимофею он нравился.

Он открыл футляр. Достал скрипку. Настроил. Покрутил колки. Квинты. Чистые квинты. Он любил настраивать. Это было просто. Два звука. Если они сливаются в один — настроено. Если бьются, пульсируют — нет.

— Что будешь играть? — спросил старик. Он сидел в кресле и накрывал ноги пледом.

— Не знаю. Что-нибудь. Без нот.

— Импровизировать? — старик хмыкнул. — Ты и этого не умеешь. Ты умеешь только по написанному.

— Я попробую.

Он закрыл глаза. Что играть? Он думал о цифрах. Простые числа. Вот что он любил больше всего. Числа, которые делятся только на себя и на единицу. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Они были одиноки. Как он. Их нельзя разделить. Разделить значило уничтожить их природу.

Он начал играть. Он не думал о мелодии. Он думал о последовательности. Он присвоил числам ноты. Единица — до. Двойка — ре. Тройка — ми. Пятерка — соль. Семерка — си. Он играл простые числа. Два-три-пять-семь. Два-три-пять-семь. Потом одиннадцать — фа. Потом пауза. Тишина. Между нотами.

И тут он услышал это. То, о чем говорил старик. Между нотами была тишина. Но она была не пустой. Она была наполнена. Чем? Ожиданием. Напряжением. Воздухом, который дрожал, потому что сейчас будет следующая нота. Невидимая струна, натянутая от звука к звуку.

Он играл дальше. 13 — ля. 17 — до второй октавы. Числа становились реже. Но они были. Они всегда находились. Как бы далеко ты ни зашел, рано или поздно тебе встретится простое число. Это была теорема. Бесконечность простых чисел. Значит, бесконечность музыки. Значит, бесконечность одиночества.

Смычок двигался медленно. Звук был тихий и прозрачный. Тимофей не думал о правильности движений. Руки делали сами. Он слушал. Он слушал, как звук умирает. Как вибрация струны затухает, превращается в ничто. Этот момент перехода из звука в тишину был важнее самого звука.

Когда он закончил, в комнате было совсем тихо. Только часы тикали на стене. Старик сидел в своем кресле и смотрел на него. Он долго молчал. Тимофей опустил скрипку и ждал приговора.

— Слушай сюда, парень, — сказал Илья Григорьевич охрипшим голосом. — Я ошибался.

— В чем?

— Ты можешь чувствовать. Но твои чувства устроены иначе. Не так, как у этих... как у всех. У тебя нет сантиментов. Соплей. Слезливых историй. Но у тебя есть понимание. Ты чувствуешь структуру боли. Ты чувствуешь одиночество не как эмоцию, а как принцип. Это

музыка и есть. Не рассказ про любовь. А про то, как устроена любовь. Или одиночество. Ты сыграл мне сейчас одиночество. Я поверил.

Тимофей не знал, что ответить. Он не хотел играть одиночество. Он хотел играть простые числа. Но ему было приятно. Приятно — это тепло в груди. Слабое, но заметное.

— Давай еще раз. Баха. Того же. Но теперь не считай. Просто слушай, что между нотами. Тимофей кивнул. Он поднял скрипку. Сделал глубокий вдох. И начал играть.

Теперь он не считал длительности. Он слушал переход. До-мажорное трезвучие. До-ми. Между ними интервал. Терция. Она звучит радостно. Почему? Никто не знает. Мажор — радость. Минор — грусть. Просто договоренность. Но договоренность работала. До-ми. Расстояние в два тона. Свет. Ми-соль. Еще терция. Еще свет. До-соль. Квинта. Пустая, как космос. Но в этой пустоте была гармония.

Он играл. Он играл медленно. Он позволял каждой ноте дозвучать до конца. Не обрывал ее. Ждал, пока она умрет сама. И в этом умирании звука было что-то щемящее. Как будто каждый звук — это живое существо. Оно рождается от смычка. Живет несколько секунд. И умирает. И ничто не может его спасти.

Когда он закончил, старик не говорил ни слова. Он сидел и смотрел в стену. По его щеке ползла слеза. Медленная. Как смычок.

— Иди домой, — сказал он, не вытирая слез. — Урок окончен.

Тимофей собрал скрипку. У двери он остановился.

— Илья Григорьевич.

— Чего?

— Спасибо.

Старик махнул рукой. Тимофей вышел. На лестнице он сел на подоконник и долго смотрел в темное небо. Звезд не было. Только тучи. Только дождь. Только бесконечная осенняя серость.

Но внутри больше не было пустоты. Внутри звучала квинта. До-соль. Чистая. Совершенная. Как математическая формула. Как доказательство теоремы. Как правда, которую не нужно объяснять. Потому что она просто есть.

## Белый шум

Зима пришла в середине ноября. Сразу. Без подготовки. Утром было серо, а к обеду все стало белым. Тимофей смотрел в окно класса и считал снежинки на стекле. Это было невозможно. Они падали слишком быстро. Но он все равно пытался. Это было лучше, чем слушать Аллу Петровну. Она говорила про Онегина. Про лишнего человека. Тимофею было непонятно, как человек может быть лишним. Человек — это единица. Он либо есть, либо нет.

В классе его сторонились. После случая в столовой он стал изгоем окончательно. Раньше его просто дразнили. Теперь боялись. Это было странно. Бояться должны были его. Но боялись они. Они обходили его за три метра. Никто не садился с ним за одну парту. Никто не просил списать математику. Хотя знали, что у него все правильно.

Перемены он проводил в библиотеке. Библиотека была старая. Там пахло бумагой и пылью. Библиотекарша, Людмила Викторовна, была тихая женщина в серой шали. Она никогда не задавала вопросов. Просто кивала, когда он заходил. И уходила в свой закуток пить чай. Тимофей садился в дальний угол, за стеллажи с технической литературой. Там было темно. Там было тихо. Он читал энциклопедию по акустике. Там было написано про частоты. Про обертоны. Про то, почему скрипка Страдивари звучит не так, как фабричная.

Однажды он нашел книгу про Баха. Там была глава про символику чисел в его музыке. Бах шифровал в нотах свое имя. В-А-С-Н. Си-бемоль-ля-до-си. Это была монограмма. Звуковой автограф. Тимофея это поразило. Человек говорил через ноты. Не через слова. Слова врут. Ноты не врут. У ноты есть частота. Ее можно измерить осциллографом. А слово «любовь» измерить нельзя. Оно значит разное для разных людей. Ненадежный инструмент.

После школы он, как всегда, шел к Илье Григорьевичу. Теперь это был не просто урок. Это было спасение. Час в день, когда мир становился понятным.

— Сегодня будешь учить этюд Крейцера, — сказал старик. Он выглядел хуже обычного. Лицо было серым. Руки дрожали. — Второй. Самый нудный. Для пальцев.

— Вы плохо себя чувствуете, — сказал Тимофей.

— Я всегда плохо себя чувствую, — отрезал старик. — Мне семьдесят четыре года. В моем возрасте хорошо себя чувствуют только покойники. Давай, не отвлекайся.

Тимофей начал играть. Этюд был сложный. Много быстрых пассажей. Шестнадцатые ноты. Нужно было попадать точно. Он старался. Пальцы не слушались до конца. Где-то грязно. Где-то ритм плыл.

— Стоп, — старик стукнул палкой об пол. Он в последнее время ходил с палкой. — Ты опять спешишь. Шестнадцатые — это не значит быстро. Это значит ровно. Отличай скорость от темпа. Скорость — для спортсменов. Темп — для музыкантов. Понял?

— Понял.

— Ни черта ты не понял. Играй с метрономом.

Он достал старый механический метроном. Деревянная пирамидка с металлическим маятником. Завел пружину. Маятник начал качаться. Тик-так. Тик-так. Безжалостный и точный. Тимофей любил метроном. Он был как сердце. Но лучше. Сердце может биться неровно от волнения. Метроном никогда.

Он играл под тик-так полчаса. Рука устала. Пальцы на левой руке ныли. Но он играл. Потому что нужно было. Потому что иначе музыка не получалась. А он хотел, чтобы получалась. Хотеть — это было для него ново. Раньше он делал только то, что было нужно. Есть. Спать. Решать задачи. А теперь у него появилось желание. Оно было острым и беспокойным. Как заноза.

— Достаточно, — сказал старик. — Передохни.

Он тяжело опустился в свое кресло. Дышал с трудом. Тимофей заметил, что он не курил сегодня. И вчера не курил. И позавчера. Это было нехарактерно.

— Илья Григорьевич, у вас легкие болят?

— У меня все болит, — сказал старик. — В том числе и легкие. Врач запретил курить. Представляешь? Семьдесят четыре года прожил, а тут запретили. Глупость.

— Почему вы не курите тогда? Если это глупость.

— Потому что хочу еще пожить немного, — старик усмехнулся. — Хочу услышать, как ты сыграешь Чакона. Из второй партиты. Это самое великое, что написано для скрипки. Бах написал это после смерти жены. Ты знаешь?

— Нет.

— У него умерла жена. Мария Барбара. Он был в отъезде. Вернулся — а ее уже похоронили. И он сел и написал Чакона. Там нет слов. Там нет слез. Там только скрипка. Одна скрипка. Четыре струны. И все горе мира. Ты должен это когда-нибудь сыграть.

— Я сыграю, — сказал Тимофей.

— Не сомневаюсь. Только времени у меня мало. Поэтому давай работать.

Они работали до вечера. Пальцы горели. Спина затекла. Но внутри было легко. Усталость тела — это ничто по сравнению с усталостью от людей. От школы. От дома.

Дом стал другим. С тех пор как отец ушел, в квартире было тихо. Раньше они ругались. Теперь не ругались. Отец звонил по средам. Говорил с мамой. Та плакала в трубку. Тимофей слушал из коридора. Отец говорил: «Я не могу больше, Женя. Я так не могу. Он меня вымотал. Ты меня вымотала. Всё». Мама говорила: «Вернись, он исправится, он не нарочно». Отец говорил: «Я знаю, что не нарочно. Но от этого не легче».

Тимофей не понимал, что значит «исправиться». Он не был сломан. Он был просто другой. Как радиоприемник, который ловит другие частоты. Весь мир слушал FM. А он слушал короткие волны. Там были другие звуки. Не музыка. Шипение. Морзянка. Сигналы далеких радиомаяков. Но это тоже было интересно. Почему никто не хотел послушать короткие волны?

Он перестал спрашивать об этом. Просто жил. Школа. Скрипка. Уроки. Сон. В субботу был выходной. В субботу он сидел дома и читал. Или ходил гулять в парк за домом. В парке был пруд. Утки уже улетели. Лед был тонкий и прозрачный. Если кинуть камень, он пробивал лед и уходил в темную воду. И по льду расходились трещины. Это было красиво.

В одну из суббот к Илье Григорьевичу пришли гости. Это было неожиданно. За все время, что Тимофей ходил на уроки, к старику никто не приходил. Только почтальон. И женщина из собеса. А тут — гость.

Это был мужчина лет пятидесяти. Высокий. В дорогом пальто. С блестящим кожаным портфелем. Он стоял в дверях квартиры старика и улыбался. Улыбка была широкая, но какая-то ненастоящая. Как у людей в рекламе.

— Дядя Илья, я к вам. Можно?

— Заходи, коли пришел, — старик не выглядел радостным. — Чего надо?

Тимофей сидел на старом стуле с инструментом. Урок прервали. Он не любил, когда прерывали урок. Это сбивало настройку.

— Я по делу, — мужчина вошел и оглядел комнату. Взгляд у него был цепкий. Оценивающий. — Ученик у вас? Не знал, что вы берете учеников.

— Не твое дело, Савелий. Говори, чего пришел.

Савелий сел на стул напротив старика. Закинул ногу на ногу. Носком дорогого ботинка покачивал.

— Я с консерваторским поручением. Юбилей города скоро. Большой концерт в филармонии. Будет мэр, губернатор. Нужны звезды. вспомнили про вас. Вы же легенда. Лауреат. Хотим, чтобы сыграли что-нибудь. Для ветеранов сцены. Почет и уважение.

Илья Григорьевич долго молчал. Он смотрел в окно. Снег падал крупными хлопьями. Тимофей смотрел на старика. Что-то было не так. Атмосфера в комнате изменилась. Она стала плотной. Как вода.

— Я не играю, — сказал старик. — Ты знаешь.

— Знаю. Тридцать лет не играете. Но время лечит. Может, для такого случая? Ради старой дружбы?

— Мы не были друзьями, Савелий. Ты был моим учеником. А потом ты стал моим... — он закашлялся. Долго не мог откашляться. Тимофей заметил, что старик прижимает руку к груди.

— Я стал вашим успешным учеником, — Савелий улыбнулся. — В отличие от вас, я сделал карьеру. Я декан. Я в жюри международных конкурсов. А вы сидите тут, в хрущевке, и учите... — он посмотрел на Тимофея. — Кого вы учите? Это что за мальчик?

— Это не твое дело, — старик стукнул палкой. — Уходи.

— Хорошо, я уйду. Но подумайте. Концерт через две недели. Гонорар приличный. Может, вам будет на что жить. Пенсия-то, небось, кот наплакал.

Он встал. Положил на стол визитку. Белый прямоугольник с золотым тиснением.

— Если надумаете — позвоните. Пока не поздно.

Он вышел. В комнате стало тихо. Только метроном тикал. Тик-так. Тик-так. Старик не просил выключить.

— Кто это был? — спросил Тимофей.

— Мое прошлое, — сказал Илья Григорьевич глухо. — Давай играть. У нас мало времени.

Они играли до темноты. Старик был суров как никогда. Он заставлял повторять одно место по десять раз. Кричал. Стучал палкой. Но Тимофей понимал: он делает это не от злости. От страха. Страх — это когда времени мало. А у старика времени было мало. Тимофей это знал точно. Как математическую формулу.

В тот вечер он ушел поздно. Уже стемнело. Он шел по лестнице и думал о Савелии. О том, что старик не играл тридцать лет. Почему? Что случилось? Это была загадка. Загадки Тимофей не любил. Загадки надо было разгадывать.

Дома его ждал сюрприз. Мама была не одна. На кухне сидел мужчина. Не отец. Другой. Он был лысоватый, в очках. Пахло от него одеколоном и чем-то сладким. На столе стоял торт. Чай в заварнике.

— Тима, познакомься, — мама встала. Голос у нее был нервный, звенящий. — Это дядя Коля. Мой... друг.

— Здорово, парень, — дядя Коля широко улыбнулся. — Наслышан о тебе. Ты музыкант?

Тимофей смотрел на него. Ему не понравился дядя Коля. Не потому что он был плохой. А потому что он был чужой. В системе появилась новая переменная. Это нарушало равновесие.

— Я играю на скрипке, — сказал он ровно.

— О, это здорово. Моя бывшая тоже играла. На нервах.

Он засмеялся. Мама засмеялась тоже. Наигранно. Высоко. Тимофей не понял шутку. Нервы — это не музыкальный инструмент. Нервы — это часть нервной системы. Он не засмеялся.

— Садись с нами чай пить, — мама засуетилась. — Торт купили. Твой любимый. «Прагу».

— Я не люблю торт, — сказал Тимофей. — Торт слишком мягкий. И сладкий. Я пойду к себе.

Он ушел в комнату. Закрыв дверь. Сел на кровать и стал слушать звуки из кухни. Мамин смех. Голос дяди Коли. Звон чашек. Всё это было неправильно. Всё это было чужим. Система рушилась. Он достал скрипку.

Он играл этюд Крейцера. Снова и снова. Быстрые пассажи. Пальцы мелькали. Смычок ходил ровно. Тик-так. Тик-так. Метронома не было, но он слышал его внутри. Звук скрипки заглушал голоса с кухни. Это было хорошо. Это было спасение.

Через час дядя Коля ушел. Мама постучала в дверь.

— Тима, можно войти?

— Да.

Она вошла. Села на край кровати. Лицо у нее было виноватое. И решительное одновременно. Как у человека, который хочет объяснить сложную вещь, но не знает как.

— Тима, дядя Коля — хороший. Он мне помогает. С работы подвозит. Иногда продукты приносит. Ты же знаешь, нам сейчас трудно.

— У нас нет денег, — констатировал Тимофей. — Я знаю. Отец ушел. Он присылает мало.

— Да. Поэтому я... мы... — она запнулась. — Я хочу, чтобы ты попробовал с ним подружиться. Он тебе не враг.

— Я не умею дружить, — сказал Тимофей. — Это сложный социальный навык. У меня нет его.

Мама вздохнула. В глазах у нее стояли слезы. Она хотела что-то сказать. Но не сказала. Просто встала и вышла. Тимофей смотрел на закрытую дверь. Ему было... никак. Нет. Не никак. Ему было плохо. Но это «плохо» не было похоже на боль. Это было больше похоже на пустоту, которая увеличивалась. Как дыра в зубе. Не болит, но мешает. Язык все время туда лезет.

Он лег и смотрел в потолок. Трещина была на месте. Он считал простые числа. Два. Три. Пять. Семь. Одиннадцать. Тринадцать. Семнадцать. Уснул на сто двадцать седьмом.

Следующая неделя прошла быстро. В школе была контрольная по математике. Тимофей решил все за пятнадцать минут. Сдал и сидел, глядя в окно. Алла Петровна проверила. Посмотрела на него поверх очков.

— Опять списал?

— Нет.

— Откуда у тебя такие ответы? Ты же не слушаешь на уроках.

— Это логика. Не нужно слушать. Нужно понимать.

Класс захихикал. Алла Петровна поджала губы и поставила пять. Тимофей не почувствовал радости. Оценки были абстракцией. Важнее было другое. Илья Григорьевич не открыл дверь во вторник.

Тимофей пришел в четыре. Постучал. Никто не ответил. Он подождал пять минут. Постучал еще. Тишина. За дверью было тихо. Ни шагов. Ни кашля. Ни музыки.

Он сел на подоконник и стал ждать. Прошел час. Полтора. Стемнело. Соседи ходили мимо. Смотрели на него. Ничего не говорили. Он ждал. В шесть часов он ушел домой. На следующий день он пришел снова. В четыре. Тишина.

В четверг он встретил старуху из сорок восьмой квартиры. Она выносила мусор.

— Вы не знаете, где Илья Григорьевич? — спросил он, глядя в пол.

— А ты кто? — старуха прищурилась.

— Ученик.

— Ученик? — она покачала головой. — Увезли его. На скорой. Вчера. Сердце. Плох совсем. В больнице он. В областной. Кардиология.

Тимофей почувствовал холод. Он шел откуда-то изнутри. Как будто в груди открыли окно. И ветер. Ледяной ветер.

— Спасибо, — сказал он.

Он спустился по лестнице. Вышел на улицу. Мороз щипал щеки. Он стоял и не знал, куда идти. Областная больница. Где это? Он не знал. Можно спросить у мамы. Но мама на работе. Можно посмотреть в интернете. Точно.

Он пошел домой. Открыл ноутбук. Нашел адрес. Больница была на другом конце города. Автобус номер четырнадцать. Потом пешком. Он записал маршрут на бумажке. Аккуратно. Номер автобуса. Остановки. Время в пути. Он не мог ошибиться. Ошибка — это потеря времени. А времени было мало.

На следующий день он прогулял школу. Впервые в жизни. Он просто не пошел туда. Вышел из дома с рюкзаком, как обычно. Но свернул не к школе, а к остановке. Автобус пришел через семь минут. Народу было много. Его толкали. Прижимали к поручню. Прикосновения жгли. Но он терпел. Потому что надо было.

Больница была огромная. Много корпусов. Переходы. Лифты. Пахло лекарствами и хлоркой. И еще чем-то кислым. Страхом? Да. Здесь пахло страхом. Тимофей нашел кардиологию. Она была на пятом этаже. Длинный коридор. Каталки. Люди в белом.

— Вам кого, мальчик? — медсестра на посту была уставшая. С кругами под глазами.

— Сорин Илья Григорьевич. Палата?..

— А ты кто ему?

— Ученик, — сказал Тимофей. — Я его ученик.

— Не положено. Только родственникам.

— У него нет родственников, — сказал Тимофей. Он знал это. Старик как-то обмолвился. Жена умерла. Детей нет. Один. Совсем один. Как он.

Медсестра посмотрела на него странно. Долго. Потом вздохнула.

— Палата четырнадцать. Только недолго. И тихо. Ему нужен покой.

Тимофей кивнул и пошел по коридору. Четырнадцатая палата была в конце. Он открыл дверь. Внутри было четыре койки. На одной лежал старик. Он был бледный. Почти такого же цвета, как наволочка. Глаза закрыты. Из носа шла трубка. К руке подключен провод. На тумбочке пикал монитор. Тик-пик. Тик-пик. Это было сердце. Переведенное в электрический сигнал.

Тимофей подошел и сел на стул рядом. Он смотрел на монитор. Всплески. Пики. Паузы. Это был ритм. Неровный. С переборами. Как музыка авангардистов. Стравинский. «Весна священная». Слушать невозможно. А оторваться нельзя.

— Илья Григорьевич, — сказал он тихо.

Старик открыл глаза. Они были мутные. Он долго фокусировался. Потом узнал.

— А, это ты, — голос был слабый, как шелест бумаги. — Пришел. А урок кто будет делать?

— Я сам. Дома. Этюд Крейцера. До конца.

— Врешь. Не до конца. Там сложный конец. Альбертиевы басы.

— Я справлюсь.

— Знаю, что справишься, — старик прикрыл глаза. — Ты упертый. Это хорошо. Талант — это ерунда. Талантливых много. Упертых мало.

Он замолчал. Дышал тяжело. Тимофей сидел и смотрел на его руки. Большие. Узловатые пальцы. Ногти желтые от табака. Эти руки держали смычок. Эти руки играли Баха. Чакона. Ту самую, после смерти жены.

— Илья Григорьевич, — сказал Тимофей. — Я хочу спросить.

— Спрашивай.

— Почему вы не играли тридцать лет?

Старик долго не отвечал. Монитор пикал. Капельница капала. За окном падал снег. Такой же белый, как стены палаты.

— Я играл, — сказал он наконец. — Я играл всю жизнь. Я был лучшим. Меня возили по всему Союзу. А потом... потом я понял, что моя игра никому не нужна. Люди хотят развлечения. Шоу. А я играл про смерть. Про одиночество. Про то, что нельзя исправить. Это никому не интересно. Савелий был прав. Он играл то, что нравится публике. Красиво. Гладко. И стал деканом. А я... я перестал играть. Потому что не хотел врать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.